

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Недавно у матушки в деревне, перебирая содержимое старого комода, обнаружил среди бумажного хлама выцветшую школьную тетрадку в линейку. Среди попыток рассказов и юношеских любовных стихов – оригинал рукописи довольно большой заметки про «культурно-творческих людей Смоленска, Рославля», опубликованной в районной газете лет тридцать пять назад. Не знаю почему, но я перечитал свой первый, может быть, ещё и не очень профессиональный, газетный материал полностью. И... стало мне печально.

В ПОИСКЕ СЕБЯ?..

Среди прочих упоминался и баянист Толик Тишкин. Я немного знал его ещё по Смоленску. Вернее, по музыкальному училищу, где он учился. Толик был человеком талантливым: абсолютный слух, умение импровизировать, не длинные, но очень бойкие пальцы. Он играл на всех клавишных. Часто по-своему. И часто, как многие музыканты, пьяный.

Толика любили. В первую очередь за то, что он был человеком безотказным. А ещё и потому, что он никому не желал зла. У Толика никогда не было семьи. Периодически он жил с какими-то женщинами, иногда довольно долго. Но он был одинок. Нет, мать у него была. А через год или полтора после её смерти сгорел в её доме, в прямом смысле, в огне пожара и её сын – тихий музыкант Толик по фамилии Тишкин.

Нынешней весной исполнилось шесть лет, как ушёл из жизни мой коллега, журналист Сашка Макаров. Повесился в редак-

ции, дождавшись, когда все уйдут. Странно... Он был на первый взгляд благополучным человеком – жена, трое детей, – преуспевающим журналистом. Его регулярно премировали, за освещение экологических проблем на Смоленской АЭС он даже получил международный грант Сороса. Сашка был талантлив многосторонне: писал стихи, песни, играл на гитаре, пел, писал прозу, очень неплохо рисовал. У многих в Рославле хранятся его работы. Он был общителен, и у него было достаточно если не друзей, то товарищей и в Рославле, и в Смоленске, и в Десногорске.

Или всё это только казалось? И на самом деле Сашка тоже был один?

Подобных примеров безмерного одиночества моих сверстников, зачисленных волею профессии или судьбы (?) в интеллигенцию районного масштаба, я могу приводить много. А ведь были знакомые и более старшего поколения, и более молодого. БЫЛИ. Одни ушли в мир иной, другие ещё живут, но умерли как личности. Не состоялись. Не реализовались. А ведь могли.

В Велиже прозябает талантливый художник Артур. В Ельне куда-то пропал после ухода жены и смерти матери учившийся когда-то со мной журналист Костя. В Вязьме спивается нарколог Сергей, писавший в студенческие года интересные этюды-эссе. В нашем Рославле историк, кандидат наук Михаил мечет громы и молнии по поводу «этой дикой страны» и всё хочет уехать. Куда? Музыкант Алексей уехал с семьёй в Израиль. Жена и дети остались там, он вернулся. И всё ищет что-то в этой жизни. И не находит.

И все они похожи друг на друга в этом поиске себя, своей ниши, своего места. А было ли оно, это своё место?

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ

Круг интеллигенции районного масштаба с общими интересами, взглядами замыкается на 10–15 человек. По крайней мере, так было в начале 80-х, когда я приехал в Рославль. В литературную студию районной газеты приходили люди разные. Были и без «верхнего» образования, но очень желавшие «ходить в интеллигентах». Впрочем, не о них речь. Из этого круга, в который входили инструктор горкома КПСС, замдиректора завода, директор местного турбюро, научный сотрудник музея, две учительницы, инженер-теплотехник, ответственный секретарь редакции, выпадал москвич, отбывающий «химию» за воровство книг из сельских библиотек. Очень интересный, надо сказать, человек.

Чем жили мы тогда в своём небольшом кругу? Прежде всего общением и тягой друг к другу. Во-вторых, «толстыми» журналами. Их в то время выходило предостаточно. Обсуждения маститых (журнальных) писателей и поэтов, разборы своего, доморощенного, творчества плавно переходили в дружеские попойки с недорогим вином, водкой и простенькой, но обильной закуской. Почти всегда была гитара. Пели, как и пили, почти всё. Удивительно, не было склок, скандалов. Наверное, потому что никто никогда не держал фигу в кармане. И все знали, что зарплата товарища по «районному литературному цеху» от 120 до 200 рублей. Делить было нечего. Вместе отмечали дни рождения. Свои, Пушкина, Окуджавы, Бунина, Солженицына. Первое мая, Пасху и бог его знает ещё что...

Однако за всей этой неплохой, тихой провинциальной жизнью скрывалась непонятная мне до сих пор личная неудовлетворённость и собой, и тем, что тебя окружает. Возможно, все мы в то время ждали большого перелома. И при этом как люди, более чувствующие (всё-таки творческие), все мы внутренне (как животные, как звери) находились в ожидании большой опасности. И ещё: среди нас (теперь я знаю точно) не было ни одного настоящего оптимиста.

Я очень хорошо помню реакцию студийцев на смерть Брежнева. Никто, конечно, не плакал. Но у всех в глазах тогда был один вопрос: «А что будет дальше?» Перестройка и гласность на извечные интеллигентские вопросы «как жить?» и «что делать?» ответов не дали. Более того, вопросы эти стали для нас острее, болезней.

Узкий круг литературных и других студий, замкнувшись, помер. Приказали долго жить и другие общественные организации, объединения интеллигентных людей. Даже в Смоленске. А в районных городах они погибли в первую очередь. Какие разговоры о прекрасном и вечном?! Какая наука, какие диссертации?! Есть ведь нечего! А тут ещё танк стреляет по Белому дому...

Именно в это время из жизни ушли многие мои знакомые. Кто-то тихо и незаметно, как подобает интеллигентному человеку, кто-то шумно и даже публично. С публикациями своих предсмертных «произведений», а потом и некрологов на их смерть в районных и областных изданиях. Только близких мне коллег-журналистов ушло в мир иной пять человек. Все – безвременно. Все, говоря казённым языком, в детородном возрасте.

Кстати, о детях. Именно в годы так называемой перестройки мои знакомые дамы – образованные и интеллигентные женщины – вдруг стали матерями-одиночками. Нет, они не развелись и не оказались по воле судьбы вдовами. Мужей у них никогда не было, а сыновья и дочки вдруг появились. Я понимаю, что это форма выживания, метод спасения себя как матери, как личности. И всё-таки мне грустно: мама, умная, интеллигентная, родила своё чадо не по любви, а из соображений самосохранения!.. И закрадываются дурацкие мысли: а будет ли счастлив этот ребёнок, когда вырастет?

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Как-то в конце 90-х уже прошлого века приехал я в Москву. Остановился у тётки. Елена Алексеевна, врач-фармацевт, работа-

ла в министерстве, её муж – авиаконструктор, трудился в КБ Туполева. Оба – московские интеллигенты. Вечером выпили чайку. Тётка с мужем пошли выгуливать противную и сопливую бульдожиху, а заодно и себя перед сном. А я бродил по комнатам «нехилой» квартирки, построенной во времена правления «вождя всех народов». На круглом столе в «большой зале» лежала тоненькая голубенькая целлофановая папка. Красивый компьютерный набор: «Жалоба». В верхнем правом углу адресаты: «Мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову... префекту Тушинского административного округа... прокурору Тушинского административного округа...»

Попытался вчитаться. «Соседи Корноуховы в нарушение правил выгуливания собак, предусмотренные постановлением..., выгуливают свою собаку..., которая гадит..., что противоречит правилам..., приводит к нарушению экологических норм, нарушает санитарные нормы... Кроме того, в апреле прошлого года овчарка соседей очень сильно покусала нашу собаку... на лечение которой было израсходовано 1377 (одна тысяча триста семьдесят семь) рублей. Просим принять меры... Просим взыскать моральный... и материальный... Просим....»

За вечерним чаем мы говорили о театре и литературе, о том, что дорого выписывать «толстые» журналы, что когда-то любимый тёткой Хейли с его «Аэропортом» – это не литература, что до дикости замучила попса по ТВ, что... В общем, мы хорошо и интеллигентно говорили. Главное, по-доброму и искренне. И вдруг – эта папка...

Точнее Антона Павловича Чехова никто ещё о русской интеллигенции не написал.

И очень жаль, что лучшей, по-моему, фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» не так давно был показан только на канале «Культура», который в Смоленской области принимают далеко не все районные города и посёлки. Проблемы интеллигенции конца XIX – начала XX веков остаются до сих пор актуальными, неразрешёнными, болезненными.

Писать «гневные и праведные» воззвания, открытые письма президенту и в парламент в защиту «своего народа» – это одно. Совсем другое – жить с этим народом. Жить в этом народе.

Странные и горькие, открытые и показанные ещё Антоном Павловичем, закономерности прослеживаются во всех трёх последних периодах (брежневский, горбачёвско-ельцинский и путинский) жизни интеллигенции. Ненужность её (интеллигенции) власти, полное её игнорирование властью. Достойная бедность. Желание жить и неумение жить.

Умные или хотя бы образованные интеллигентные люди не нужны были в нашей стране изначально. Их бегство, «философские» пароходы, ГУЛАГ, психушки, КГБ, парткомы, вечное безденежье... Но если раньше она, интеллигенция, мешала партии и правительству, а потому её и не могли не замечать, то сегодня её просто игнорируют. Ну есть она и есть. И живёт она сама по себе. На подачки всё той же власти, в своей достойной бедности.

И всё наша провинциальная интеллигенция понимает (кстати, слово это происходит от латинского *intelligentia* – понимание), но ей от этого понимания нисколько не легче.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА (из цикла «Журналистские были и небыли»)

С Валеркой мы не виделись лет пять. Он позвонил утром 6 января. Едучи из Питера в родную Вязьму к матушке, он заскочил в Смоленск. Мы бурно встретились, потолкались по отдыхающему, как вся страна, городу и выдвинулись на вокзал. До вяземской электрички времени было еще достаточно. В привокзальном кафе-баре народу оказалось немного. Нам никто не мешал выпивать, говорить, вспоминать буйную студенческую, комсомольскую и молодежно-журналистскую молодость. Прошло около часа нашего разговорного сидения, и я стал замечать, что Валерка куда-то выпадает, мыслями уходит и как-то тускнеет все больше.

– Ладно, колись, что у тебя случилось, что это ты незнамо куда уходишь? – напрямую спросил я.

Он шмыгнув носом, резко вдруг встал и пошел к стойке. Вернулся еще с одним графинчиком граммов в триста. Налил по полстакана мне и себе, выпил и, не закусывая, начал говорить:

– Помнишь, ты приезжал в Питер в том убойном, ГКЧПэшном году?... Настя моя тогда в первый класс собиралась. А Ленка... Ленка очень хотела второго. И обязательно – сына. А я боялся. Я страшно боялся. Я даже сам про себя не знал, что могу так бояться. Я с ужасом думал тогда: какие пеленки-подгузники-памперсы? Какое детское питание? Тут простыни талонов на крупу, муку, сахар, сигареты и водку...

В магазинах – только аджика и горчица в свободной продаже. Людям жрать нечего! И танк по Белому дому стреляет... Этот танк я снимал. Питерское агентство журналистских расследований меня туда бросило... А она – сына хочу, и все..

Нет, я ее не отговаривал. Я молчал. Как партизан – ни да, ни нет. Но она все видела и все понимала. Она чувствовала. Особенно чувствовала эту мою боязнь. Мою трусость.

Валерка снова налил, выпил, не дожидаясь меня, и продолжал: – Сколько ты у нас

тогда в Питере поработал? Месяца два? – Я, соглашаясь, утвердительно кивнул. – Так вот, ты уехал, Настя в школу пошла. Слава Богу, только один танк стрелял. Хвала Господу, войны не случилось... А уже через месяца полтора, кажется, в ноябре, Ленка пришла из консультации и сказала, что беременна. Понимаешь, она забеременела! Но не просто так! Представляешь, она забеременела со спиралью...

Валерка вынул очередную сигарету, закурил, сделал два глотка из стакана. – Тут снова на нее подруги с отговорами навалились. Тогда неделю ездила, все беседы с ней женские душещепательные на кухне вела. Ты же знаешь, он фармацевт – какой-никакой, но медик. Она Ленке свою знакомую гинекологиньшу, доцентшу подогнала. Нет, и та не убедила ее. Ленка вообще перестала кого-либо слушать. Решила – это знак свыше. Буду рожать и все.

К Новому году у нее уже животик прорисовывался. Все что нужно подтянулось, грудь поднялась. Она к тому времени еще и волосы отрастила. Ты не представляешь, я раздевал ее и обалдевал от нее, как двадцать лет назад. Стыдно, но хрен с ним, со стыдом, тебе признаюсь: я даже подглядывал, как она под душем стоит, как в ванне нежится, вальяжно переворачивается, как молодая и в первый раз беременная акула. Эх, что мы потом вытворяли, вернее, она со мной вытворяла... Нет, этого не расскажешь, это только наше, это мое. Это даже не для тебя, Серёга. Скажу только одно: я снова любил ее, как в те, послестуденческие, годы. И я снова молодым себя чувствовал. Я приезжал из командировок и не ехал в редакцию срочный репортаж сдавать, я домой мчался, я к ней летел, я хотел ее... И... ты знаешь, мои страхи прошли. И я захотел сына. И еще как захотел. Я даже во сне его уже видел.

И так было почти полгода, может, чуть меньше. Потом эти прибалтийские события начались. Мне издательство «Патриот» пред-

ложило на них поработать. Деньги хорошие платили. Думал: почему бы для будущего своего Егорки не попахать? Неделями в Эстонии, Латвии торчал. И вот как-то звоню утром из Риги домой – молчок. В обед – то же самое. Мне уже не по себе. Через час снова – ни Настя, ни она не отвечают. Что за хреновина? Набираю тещу и... – Валерка сглатывает комок в горле, запивает его остатками водки. – И теща мне выдает: Лена в больнице, в Красном кресте. Я все бросаю, на борту спецназовской «вертушки» лечу в Питер...

...Ты никогда не думал, почему так больница называется – «Красный крест»? Крест, да еще красный?! Кровавый! Цвет крови нашего бывшего пролетарского знамени? Жуть какая-то. Ну да ладно, не об этом сейчас разговор...

В палате их четверо было. И все, наверное, беременные. Ленка спала. А как те три женщины смотрели на меня! Больно смотрели. И с какой-то надеждой. И мольбой. Может, думали доктор какой новый пришел? Может, вот он и поможет, он и спасет их самих и их детей, еще не рожденных, может...

Валерка застонал, по правой щеке его катилась большая слеза. Потом он как-то пособачьи рывкнул, грохнул кулаком по столу, аж барменша за стойкой подпрыгнула, снова взял графинчик, пошел к стойке и вернулся с водкой. Налил почти полный стакан и залпом выпил.

– А еще больше, – продолжал он, – меня поразили-покоробили простыни. Ленка лежала в желтых простынях. Они не по цвету были желтыми. Простыни эти желтыми были от времени, ветхости, от застиранности. От нашей, прости Господи, всеобщей засранности. И это – в экстренном отделении акушерства и гинекологии, где рождается, или не рождается!? (Валерка почти орал) будущее великой страны! Я, как только увидел ее глаза, лицо, свалявшиеся волосы, когда взял ее руку, понял: сына не будет. И вообще ничего

далее не будет. Будет пусто. Ленку я ни о чем не спрашивал, ни тогда, ни потом. Сама она ничего не говорила. И не только мне. Даже теща у меня спрашивала, что все-таки там было? А что я мог ей сказать...

После всего этого Ленка совсем другой стала. Она чужой стала всем и для всех. Она, видно, сама этого захотела. В работу ушла Выиграла городской профессиональный – чувствуешь, профессиональный? конкурс среди преподавателей колледжей, кандидатскую заброшенную вытащила и защитилась... Остепенилась, окандидатилась. Да ведь и я был в Питере, в области не последним человеком среди газетчиков, и в Союзе нашем, журдомовском, меня ценили, выставку-персоналку помогли сделать, и деньги пошли. Жить бы да жить. Но она все уходила от меня, уходила... Настя все больше – у тещи. Дом рушится, семья разваливается. С работы придешь, из командировки вернешься – глухо: сидит, курит, молчит, макароны горят в кастрюле...

Одиночество вдвоем – это страшно. Через два года мы разбежались-разошлись. Один я сейчас, Серёга, понимаешь, один...

...Он, наверное, еще говорил бы, изливал бы душу, но объявили посадку на вяземскую электричку. На посошок мы выпили еще и двинулись в подземный переход. Валерка блаженным голосом запевалы народного имени 20 партсъезда хора орал частушку горбачевских времен: «Перестройка – мать родная, хозрасчет – отец родной! Тра-та-та... родня такая! Буду лучше холостой!». Потом он вдруг резко остановился. Полез в свой фотокофр, вынул черный пакет, а из него черно-белый снимок.

– На, это тебе. Он похож на твоего Петьку и на моего неродившегося Егорку. Это я снимал в детдоме где-то под Питером, не помню... Слушай, давай еще жажнем. Муторно мне, в Вязьму я уеду утром. Матушка поймет и простит...

Мы развернулись и пошли на вокзал.